

© Перевод. А. Криволапов

Две женщины вежливо кивнули друг другу, разделенные порогом квартиры. Обе были одиноки, обе вдовы – одна в возрасте, другая совсем молодая. Сегодняшняя встреча, которая вроде бы должна была бы помочь им справиться с одиночеством, лишь усилила это чувство.

Молодая женщина, Руфь, преодолела тысячу миль ради их встречи; вынесла грохот, сажу и духоту железнодорожного вагона, доставившего ее из весеннего военного городка в Джорджии в фабричный поселок на окраине все еще полузамерзшей долины Нью-Йорка. Теперь она гадала, почему он казался таким правильным, таким необходимым – ее приезд сюда. Ведь грузная пожилая женщина, которая теперь перегорала вход, с трудом выдавливая улыбку, тоже желала их встречи, если судить по ее письмам.

– Так, значит, вы та самая, что вышла за моего Теда, – холодно проговорила старшая женщина.

Руфь попробовала представить себя матерью женатого сына и подумала, что ее вопрос прозвучал бы так же. Она поставила на пол чемодан, который не выпускала из рук, поскольку представляла нежную и радостную встречу, представляла, как ворвется в квартиру, отогреется, приведет себя в порядок, а потом они будут говорить и говорить о Теде. Вместо этого мать Теда, судя по всему, намере-

валась тщательно изучить ее, прежде чем пригласить в дом.

– Верно, миссис Фолкнер, – сказала Руфь. – Мы были женаты пять месяцев, прежде чем его отправили за океан. – И, чувствуя на себе неодобрительный взгляд, добавила, словно защищаясь: – Пять счастливых месяцев.

– Тед это все, что у меня было, – сказала миссис Фолкнер.

Она словно упрекала ее.

– Тед был хорошим человеком, – неуверенно проговорила Руфь.

– Мой малыш, – сказала миссис Фолкнер. Она как будто обращалась к невидимой, но полной сочувствия аудитории. Затем передернула плечами. – Вы, должно быть, замёрзли. Входите, мисс Харли.

Девичья фамилия Руфи была Харли.

– Я вполне могла бы остановиться в гостинице, – проговорила она.

Под взглядом второй женщины она почувствовала себя здесь чужой, осознала, что не по-здешнему растягивает слова, что ее одежда слишком легкая и явно предназначена для более теплого климата.

– И слышать не желаю, чтобы вы остановились где-то еще. Нам ведь о многом нужно поговорить. Когда должен родиться ребенок Теда?

– Через четыре месяца.

Руфь втащила чемодан через порог и присела на краешек дивана, накрытого скольз-

ким чехлом из английского ситца. Единственный источник света в натопленной комнате была лампа на каминной полке, чей тусклый свет вдобавок приглушался абажуром, похожим на черепаховый панцирь.

– Тед так много рассказывал о вас, я дожидаться не могла нашей встречи, – проговорила Руфь.

Во время своего долгого путешествия Руфь часами представляла себе, как будет говорить с миссис Фолкнер, как завоюет ее расположение. Она дюжину раз повторила про себя и подправила свою биографию в ожидании вопроса: «Ну а теперь расскажите мне о себе». Она бы начала рассказ со слов: «Что ж, боюсь, родственников у меня не осталось – во всяком случае близких. Отец мой был полковником кавалерии и...»

Но мать Теда не стала задавать вопросов. Не говоря ни слова, миссис Фолкнер задумчиво налила в две рюмки шерри из дорогого на вид графина.

– Личные вещи, – проговорила наконец она. – Мне сказали, их отправили вам.

Руфь на мгновение замешкалась.

– А, те вещи, что были с ним за границей? Да, они у меня. Это обычное дело... я имею в виду, их всегда отправляют жене.

– Наверняка это автоматически делают какие-то машины в Вашингтоне, – с иронией произнесла миссис Фолкнер. – Генерал просто нажимает кнопку и... – Она не закончила фразу. – Будьте любезны, верните их мне.

– Они мои, – запротестовала Руфь, сама понимая, насколько ребячески это звучит. – Он хотел бы, чтобы они были у меня.

Она взглянула на крошечную до нелепости рюмку с шерри и подумала, что понадобилось бы двадцать таких, чтобы как-то пережить наступившее ее суровое испытание.

– Если вам так легче, можете и дальше считать их своими, – терпеливо продолжала миссис Фолкнер. – Я просто хочу, чтобы все было собрано в одном месте – то небольшое, что осталось.

– Боюсь, я не совсем понимаю.

Миссис Фолкнер обернулась и благоговейно произнесла:

– Если собрать все эти вещи вместе, он станет немножко ближе. – Она включила торшер, который неожиданно залил комнату ярким светом. – Они ничего не значат для вас, – сказала она. – Если бы вы были матерью, то поняли бы, насколько бесценны они для меня.

Она пальцем стерла пылинку с резной застекленной горки, которая стояла у стены, опираясь на ножки в виде львиных лап.

– Видите? Я оставила в горке место для тех вещей, что должны быть у вас.

– Очень мило, – проговорила Руфь.

Она представила себе, что сказал бы Тед об этой горке – с его детскими ботиночками, книжками детских стишков, перочинным ножиком, бойскаутским значком... Помимо дешевой сентиментальности, Тед наверняка почувствовал бы во всем этом и что-то большое.

Миссис Фолкнер не сводила с жалких безделушек благоговейного взора широко раскрытых, немигающих глаз.

Руфь попыталась разрушить чары.

– Тед говорил мне, вы очень здорово управляетесь в магазине. Хорошо ли сейчас идут дела?

– Я рассталась с работой, – проговорила миссис Фолкнер отсутствующим голосом.

– Правда? Тогда у вас появилось много времени для всяких дел в клубе?

– Я ушла из клуба.

– Понятно, – солгала Руфь, сняла перчатки, затем снова их надела. – Тед говорил, вы замечательный оформитель, и я вижу, что он был прав. Он говорил, вы каждые год-два меняете все в квартире. Что планируете сделать в следующий раз?

Миссис Фолкнер с трудом оторвалась от своей горки.

– Здесь больше ничто и никогда не изменится. Вещи у вас в чемодане?

– Их не так уж много, – сказала Руфь. – Его бумажник...

– Из кордовского телячьей кожи, верно? Я подарил ему его, когда он закончил начальную школу.

Руфь кивнула, открыла чемодан и принялась в нем копаться.

– Письмо мне, две медали и часы.

– Часы, пожалуйста. Там на обратной стороне гравировка от меня на его двадцать первый день рождения. У меня для них приготовлено место.

Руфь покорно протянула ей вещи Теда.

– Письмо я хотела бы оставить себе.

– Конечно, вы можете оставить письмо. И медали. Они не имеют ничего общего с тем мальчиком, о котором я хочу помнить.

– Он был мужчиной, не мальчиком, – мягко возразила Руфь. – И хотел бы, чтобы его запомнили именно таким.

– Это ваш способ помнить его, – сказала миссис Фолкнер. – Уважайте мой.

– Простите, – проговорила Руфь. – Я уважаю. Но вам следовало бы гордиться тем, что он был храбрым и...

– Он был мягким, чувствительным и умным! – прервала ее миссис Фолкнер с неожиданной страстью. – Его нельзя было посылать за океан. Они попытались сделать его жестким простаком, но в душе он всегда оставался моим мальчиком.

Руфь встала и оперлась о горку – или усыпальницу. Наконец она поняла, что происходит, что стоит за враждебностью миссис Фолкнер. Для нее Руфь была лишь одним из тех безликих далеких заговорщиков, что забрали у нее Теда.

– Ради всего святого, осторожнее!

Удивленная, Руфь резко отшатнулась от горки. Какой-то маленький предмет соскользнул с открытой полки и разлетелся на полу на белые осколки.

– Ах, мне так жаль!..

Миссис Фолкнер была уже на коленях, пальцами сгребая осколки.

– Как вы могли! Как вы могли!

– Мне ужасно жаль. Могу я купить вам другое?

– Она хочет знать, может ли купить мне другое, – дрожащим голосом обратилась миссис Фолкнер к невидимой аудитории. – И где же это вы сможете купить блюдечко для конфет, которое Тед сделал своими собственными маленькими ручками, когда ему было всего семь?

– Его можно склеить.

– Можно склеить? – трагически возгласила миссис Фолкнер. Она поднесла осколки прямо к лицу Руфи. – Вся королевская конница и вся королевская рать...

– Слава небесам, их было два. – Руфь показала на второе глиняное блюдечко на полке.

– Не троньте! – вскричала миссис Фолкнер. – Не троньте здесь ничего!

Вся дрожа, Руфь поспешила убраться подальше от горки.

– Я лучше пойду. – Она подняла воротник пальто. – Могу я воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать такси?

Агрессивность миссис Фолкнер мгновенно сменилась непреклонностью.

– Нет. Вы не можете забрать у меня дитя моего мальчика. Пожалуйста, дорогая, попытайтесь понять и простить меня. Это маленькое блюдечко было для меня священо. Все, что осталось после моего мальчика, священо, вот почему я так повела себя. – Она крепко вцепилась в краешек рукава Руфи. – Вы ведь понимаете, правда? Если в вас есть хоть капля сострадания, вы простите меня и останетесь.

С едва сдерживаемым раздражением Руфь выпустила из легких воздух.

– Если не возражаете, я хотела бы сразу отправиться в постель.

Она вовсе не устала, напротив, была настолько вздернута, что не сомневалась: ночь придется провести, тарашась в потолок. Но ради того, чтобы больше не обменяться и словом с этой женщиной, была готова немедленно спрятать унижение и разочарование в белом беспамятстве постели.

Миссис Фолкнер вновь превратилась в идеальную хозяйку, вежливую и внима-

тельную. Небольшая гостевая комната, со вкусом оформленная, но безликая и стерильная, как все гостевые комнаты, словно приглашала почувствовать себя как дома, в то же время признавая тот факт, что это не является возможным. В комнате было холодно, как будто радиаторы отопления включили всего лишь час назад, а в воздухе ощущался сладковатый запах мебельной политуры.

– Это для нас с малышом? – поинтересовалась Руфь.

Она не собиралась оставаться дольше завтрашнего утра, но почему-то решила все-таки заговорить с миссис Фолкнер, которая задержалась в дверях.

– Это только для вас, милая. Я подумала, что малышу будет гораздо удобнее в моей комнате. Видите ли, там куда больше места, а здесь и кровать-то некуда поставить. – Она натянуто улыбнулась. – Ну а теперь прошу меня извинить, милая.

Не дожидаясь ответа, она развернулась и отправилась к себе, мурлыча что-то под нос.

Руфь, не смыкая глаз, пролежала под жесткими простынями около часа. Перед мысленным взором мелькал то один, то другой яркий момент. Снова и снова вставало перед ней вытянутое, задумчивое лицо Теда. Руфь вспомнила его одиноким мальчиком – когда они только познакомились, потом возлюбленным, затем мужчиной. Усыпальница – воспевавшая мальчика и игнорирующая мужчину – вызывала жалость. Для миссис Фолкнер Тед умер, когда полюбил другую женщину.

Руфь откинула одеяло и подошла к окну – хотелось выглянуть на улицу, чтобы хоть как-то сменить впечатления. За окном в нескольких футах обнаружилась всего лишь припорошенная снегом кирпичная стена, и Руфь на цыпочках отправилась в гостиную, где из широкого окна открывался вид на голубые предгорья Адирондака.

Вдруг она резко остановилась. Миссис Фолкнер, чья грузная фигура просвечивала сквозь тонкую ночную рубашку, стояла перед полкой с безделушками, обращаясь к ним:

– Спокойной ночи, милый, где бы ты ни был. Надеюсь, ты слышишь меня и знаешь, что мама любит тебя. – Она помедлила, словно прислушиваясь к чему-то, затем кивнула. – Твое дитя будет в надежных руках – в тех же самых, что баюкали тебя. – Она поднесла руки к полке. – Спокойной ночи, Тед. Сладких снов.

Руфь прокралась обратно в постель, а несколькими мгновениями позже босые ноги прошлепали по полу, дверь закрылась и наступила тишина.

\* \* \*

– Доброе утро, мисс Харли.

Руфь, моргая, подняла глаза на мать Теда. Кирпичная стена за окном гостевой комнаты влажно сверкала, снег стоял. Солнце уже было высоко.

– Хорошо спали, дитя мое? – Голос был веселый, дружеский. – Уже почти полдень, и я приготовила вам завтрак. Яйца, кофе, бекон и бисквиты. Не откажетесь?

Руфь кивнула и потянулась, кошмар ночной встречи казался нереальным. Солнце освещало каждый уголок, рассеивая похоронную тоску их первого свидания. Стол в кухне излучал миролюбие, обильный завтрак был нетороплив.

Отвечая миссис Фолкнер улыбкой на улыбку, после третьей чашки кофе Руфь совершенно расслабилась, представляя, как начнет новую жизнь в столь теплой обстановке. Накануне просто случилось недопонимание между двумя усталыми, разнервничавшимися женщинами.

О Тедке не говорили – во всяком случае, поначалу. Миссис Фолкнер с юмором рассказывала о том, как начинала свою карьеру деловой женщины в мире мужчин, вернувшись к жизни после нескольких лет безысходности, последовавших за смертью мужа. А потом она таки начала расспрашивать Руфь о ее жизни и выслушала ее рассказ с подкупающим вниманием.

– Вы, наверное, хотите в один прекрасный день вернуться на Юг.

Руфь пожала плечами.

– Меня там особенно ничего не держит – да, собственно, и нигде. Отец мой был кадровым военным, и вряд ли вы назовете гарнизон, в котором мне не пришлось бы пожить.

– И где бы вы хотели обосноваться? – вкрадчиво поинтересовалась миссис Фолкнер.

– О, в этой части страны очень мило.

– Здесь ужасно холодно, – рассмеялась миссис Фолкнер. – Можно сказать, всемирная штаб-квартира синусита и астмы.

– Ну, во Флориде, конечно, жить куда легче. Думаю, будь у меня выбор, мне больше всего подошла бы Флорида.

– Вообще-то, у вас есть выбор.

Руфь поставила чашку на стол.

– Я собираюсь обосноваться здесь – как хотел Тед.

– Я имею в виду, когда родится ребенок, – проговорила миссис Фолкнер. – Тогда вы сможете уехать, куда пожелаете. У вас есть деньги по страховке, я еще добавлю, и вы вполне сможете поселиться в милом маленьком городке вроде Санкт-Петербурга.

– А как же вы? Вы ведь хотели, чтобы ребенок был рядом?

Миссис Фолкнер потянулась к холодильнику.

– Вот, милая, вам ведь нужны сливки. – Она поставила перед ней кувшинчик. – Разве вы не видите, как чудесно все для нас складывается? Вы оставите ребенка со мной, а сами будете совершенно свободны жить так, как пристало любой молодой женщине. – В голосе миссис Фолкнер зазвучали доверительные нотки. – Разве не этого Тед хотел от нас обоих?

– Черта с два он хотел такого!

Миссис Фолкнер поднялась на ноги.

– Думаю, мне лучше судить. Тед со мной каждую минуту, когда я нахожусь в этом доме.

– Тед мертв, – не веря ушам, проговорила Руфь.

– Это так, – нетерпеливо перебила миссис Фолкнер. – Для вас он мертв. Вы теперь не можете чувствовать его присутствие или знать, чего он хочет, потому что едва знакомы с ним. Нельзя узнать человека за пять месяцев.

– Мы были мужем и женой, – сказала Руфь.

– Большинство мужей и жен чужие друг другу, пока смерть не разлучит их, милая. Я едва знала своего мужа, а мы ведь прожили вместе не один год.

– Некоторые матери пытаются сделать своих сыновей чужими для всех женщин, кроме себя, – горько произнесла Руфь. – Хвала Господу, вам это не удалось!

Миссис Фолкнер по-мужски резко бросилась в гостиную. Руфь услышала, как заскрипели пружины стула перед святылищем. И вновь послышался шепот диалога с пустотой.

Спустя десять минут Руфь с собранным чемоданом стояла в гостиной.

– Дитя, куда ты? – спросила миссис Фолкнер, даже не взглянув на нее.

– Прочь – на Юг, наверное.

Руфь держала ступни сомкнутыми, высокие каблуки все глубже погружались в ковер по мере того, как она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она много чего хотела сказать старшей женщине и ждала, когда та повернется к ней лицом. Сотни гневных фраз пришли ей на ум, пока она собирала вещи – фраз, которые не нуждались в ответе.

Миссис Фолкнер не обернулась, по-прежнему не сводя глаз с безделиц на полке. Ее широкие плечи поникли, голова опустилась словно под тяжестью знания, известно-го только ей одной.

– Что вы такое, мисс Харли, эдакая богиня, которая может даровать или лишать человека самого ценного, что у него есть в жизни?

– Вы хотели, чтобы я дала вам куда больше, чем вы имеете право просить.

Руфь представила себе, как должен был чувствовать себя маленький мальчик, стоя на этом самом месте, пока эта одержимая

женщина решала, что он должен сейчас сделать.

– Я прошу только того, что просит мой сын.

– Это не так.

– Она не права, верно ведь, дорогой? – обратилась миссис Фолкнер к горке. – Она недостаточно тебя любит, чтобы слышать так, как слышит тебя мама.

Руфь бросилась к двери, выбежала на мокрую улицу и судорожно замахала первому же озадаченному водителю.

– Я не такси, дамочка.

– Пожалуйста, отвезите меня на вокзал!

– Послушайте, дамочка, я еду совсем в другую сторону. – Руфь разразилась слезами. – Ладно, ладно. Ради всего святого, успокойтесь. Полезайте в машину.

\* \* \*

– Поезд номер четыреста двадцать семь на Сенеку прибывает на четвертый путь, – объявил голос из громкоговорителя.

Голос явно хотел разбить любую иллюзию любого пассажира по поводу того, что это пункт назначения уж точно получше того места, из которого он отправляется. Сан-Франциско объявляли так же безжизненно, как какую-нибудь Трою, а Майами звучало ничуть не более соблазнительно, чем Ноксвилл.

Под потолком зала ожидания прогрохотало, и колонна рядом с Руфью затряслась. Она подняла глаза от журнала и взглянула на вокзальные часы. Следующий поезд, на Юг, был ее. Когда она покупала билет, проверяла багаж и устраивалась на жесткой скамье, чтобы скоротать время до поезда, ее движения были быстрыми, целенаправленными, а походка почти развязной. Движения были аккомпанементом к гневному диалогу, не прекращавшемуся в ее голове. Руфь представляла, как хлещет миссис Фолкнер безжалостной правдой и победоносно удаляется, оставив эту женщину с ее лживыми извинениями и слезами.

К этому моменту мстительные фантазии доставили Руфи удовлетворение, помогли забыть о недавней мучительнице. Она чувствовала только лишь скуку и зарождающееся одиночество. Чтобы избавиться от одного и другого, она принялась рассматривать людей в зале ожидания, по лицам, одежде и багажу угадывая банальные обстоятельства, которые привели каждого на вокзал.

Вот высокий солдат с детским лицом сухо беседует с хорошо одетыми родителями: из колледжа и серой фланели прямиком на призывной пункт... медаль за отличную стрельбу... умен, богат... отцу неловко, что у сына такое низкое воинское звание...

Мучительный кашель прервал ее мысли. Старик, прижавшийся к подлокотнику на краю совершенно пустой скамьи, сложился пополам от приступа кашля. Наконец кашель успокоился, и старик снова затянулся сигаретой, зажатой между грязными пальцами.

Хрупкая ясноглазая старушка протянула носильщику доллар и заставила его внимательно выслушать точные инструкции по поводу того, как обращаться с ее багажом – она отправлялась в ежегодное путешествие, чтобы лишний раз осудить детей и наложить лапу на внуков...

Снова мучительный кашель. В этот раз порыв сквозняка от дверей донес до ее ноздрей зловонное дыхание. Кашель усилился, лишая его последних сил. Сигарета упала на пол.

Руфь пересела на скамье так, чтобы иметь возможность не видеть его.

Вот запыхавшийся толстяк с жизнерадостным красным лицом, выглядывающим из-под фетровой шляпы, упрасивает, чтобы его пропустили к кассе без очереди – наверняка коммивояжер... шарикоподшипники, или водонагреватели, или что-то еще... Снова мучительный кашель. Раздраженная тем, что столь неприятное зрелище вновь привлекает ее внимание, Руфь взглянула на старика. Содрогаясь всем телом, тот перегнулся через подлокотник скамьи.

Стяжак-коммувионер бросил взгляд на старика и снова устоялся вперед, сохраняя место в очереди. Старушка, все еще инструкторская носильщика, подняла голос, чтобы неожиданная помеха не помешала услышать ее. Молодой солдат и его воспитанные родители не были столь вульгарны, чтобы признать, что рядом происходит что-то неприятное. Разносчик газет вбежал в зал ожидания, двинулся было в сторону Руфи и старика, резко притормозил и направился в другой конец зала, выкрикивая новости о трагедии, случившейся за тысячу миль отсюда.

– Читайте сенсационные новости!

Над головой прогрехотало эхо следующего поезда. Все двинулись в сторону перрона, избегая прохода, в котором лежал старик, но делая вид, будто выбрали путь к поезду совершенно случайно.

– Буффало, Гаррисбург, Балтимор и Вашингтон, – объявил голос в громкоговорящем теле.

Руфь поняла, что это и ее поезд. Она поднялась на ноги, стараясь не смотреть на старика. Он просто мертвецки пьян, говорила она себе. Пусть полежит здесь и проспится. Она взяла журнал и сумочку под мышку. Кто-нибудь – полиция или какая-нибудь благотворительная организация, или кто там еще должен это делать – наверняка скоро подберет его.

– На посадку!

Руфь обогнула старика и поспешила на перрон. Сырой холод с шипеньем спускался на платформу, окутывая ее. Бледные огни, колышущиеся в клубах пара, казалось, тянулись в бесконечность – ненастоящие, неспособные повлиять на ее мысли. А мысли всё возвращались к назойливому, повторяющемуся звуку – стариковскому кашлю. Он звучал в ушах всё громче и громче, словно усиливаясь и отражаясь эхом в каменном мешке.

– На посадку!

Руфь развернулась и бросилась прочь с перрона. Несколькими секундами позже она

уже склонилась над стариком, расстегивая ему ворот, растирая скапая. Она помогала ему вытянуть тощее тело во весь рост на скамье и положила под голову свернутый плащ.

– Носильщик! – крикнула она.

– Да, мэм?

– Этот человек умирает. Вызовите «скорую»!

– Да, мэм.

Когда Руфь направилась к выходу, загудели сирены. Она не услышала их, стараясь вспомнить всех бесчувственных людей на вокзале. «Скорая» увезла старика, и теперь Руфи, которая опоздала на поезд, предстояло провести еще четыре часа в родном городе Теда.

«Только потому, что он уродлив и грязен, вы не захотели помочь ему, – говорила она воображаемой толпе. – Он болен и нуждался в помощи, а вы думали только о себе, боясь даже прикоснуться к нему. Стыдитесь».

Руфь с вызовом смотрела на проходящих мимо людей, получая в ответ озадаченные взгляды.

– Вы притворились, что с ним не происходит ничего страшного, – пробормотала она.

Руфь убивала время в типично женской манере, делая вид, будто вышла за покупками. Она критически разглядывала витрины, шупала ткани, приценивалась и обещала продавщицам, что вернется за покупкой после того, как зайдет еще в пару магазинов. Все это Руфь делала почти автоматически, а тем временем мысли ее возвращались к поступку, которым она теперь гордилась. Она оказалась одной из немногих, говорила себе Руфь, кто не стал убегать от неприкасаемых. От нечистых, больных незнакомцев.

Мысль была жизнеутверждающей, и Руфь позволила себе думать, что Тед разделит бы с ней радость. С мыслью о Теде перед ней встал образ его жуткой матери. Ей стало еще приятнее, когда она подумала, насколько эгоистична миссис Фолкнер по сравнению с ней. Та так и сидела бы в зале ожидания,

безразличная ко всему, кроме трагедии своей собственной жалкой жизни. Она бы наверняка общалась с призраком, пока старик испускал дух.

Руфь вспомнила горькие, унижительные часы, проведенные с этой женщиной, запугивание и лесть во имя кошмарного понимания материнства и горстки безделушек. Отвращение и желание уехать вернулось к ней с новой силой. Руфь облокотилась на прилавок ювелирного магазинчика и оказалась лицом к лицу со своим отражением в зеркале.

– Могу я помочь вам, мадам? – обратилась к ней продавщица.

– Что? О... нет, спасибо, – проговорила Руфь.

Лицо в зеркале было мстительным, самодовольным. В глазах был тот же холодный блеск, что и в тех, которые смотрели на старика на вокзале и не видели его.

– Вам нездоровится? Может, присядете на минутку?

– Нет-нет... ничего страшного, – отсутствующим голосом ответила Руфь. – Она отвела взгляд от зеркала. – Так глупо. У меня просто на минутку закружилась голова. Теперь все прошло. – Она неуверенно улыбнулась. – Большое вам спасибо, но мне надо торопиться.

– На поезд?

– Нет, – устало проговорила Руфь. – Очень больная старая женщина нуждается в моей помощи.

## ОБМАНЩИКИ

© Перевод. Андрей Криволапов

Жизнь была добра к Дурлингу Стедману. Он водил новенький «кадиллак» цвета вареного лобстера. А к заднему бамперу «кадиллака» крепилось сцепное устройство, при помощи которого Стедман перемещал свой серебряный дом на колесах весной на Кейп-Код, а осенью во Флориду. Стедман был художником – он писал картины. Хотя художника он не слишком напоминал. Своими профессиональными приемами он частью походил на стопроцентного бизнесмена, делового человека, который понимает, что такое платить по счетам, человека из народа, полагающего, что художники по большей части – глупые мечтатели, а искусство в основном представляет собой сущую чепуху. Стедман приближался к шестидесятилетию и внешне состью напоминал Джорджа Вашингтона.

Вывеска над его мастерской в квартале художников городка Семинол-Хайлендс, штат Флорида, говорила сама за себя: «Дурлинг Стедман – искусство без дураков».

Он расположил свою мастерскую в самом логове соперничающих друг с другом художников-абстракционистов. Ловкий ход, поскольку большую часть туристов абстракционисты сердили и раздражали, и тут посреди разноцветной невнятицы зеваки вдруг натыкались на Стедмана и его работы. Картины Стедмана были очаровательны, как почтовые открытки, а сам художник казался старым приятелем из родных мест.

– Я – оазис, – любил говаривать он.

Каждый вечер Стедман выставлял мольберт прямо перед входом в мастерскую и демонстрировал свое мастерство. Он работал примерно час под внимательными взглядами зевак, затем ставил точку, помещая картину в золоченую рамку. Толпа понимала, что действие закончилось, и раздражалась аплодисментами. Шум уже не мог испортить шедевр, потому что шедевр был завершен.

Стоимость шедевра указывалась на карточке, прикрепленной к рамке: «60 долларов



вместе с рамкой». Спрашивайте о наших специальных условиях». Слово «наших» на карточке означало, что речь идет о Стедмане и его жене Корнелии.

Корнелия не слишком разбиралась в искусстве, однако была уверена, что ее муж – второй Леонардо да Винчи. Впрочем, так считала не только Корнелия.

– Богом клянусь, – однажды вечером проговорила потрясенная женщина из толпы зевак, – когда вы рисовали эти березы, вы и впрямь будто березовую краску взяли – будто любой может такую краску взять, и вот вам березовая кора. И с облаками так же, будто это облачная краска такая, что любой возьми да и нарисуй не глядя!

Стедман игриво протянул ей мольберт и кисть.

– Прошу, мадам.

Он безмятежно улыбнулся, но улыбка была дежурной – просто чтобы не сорвать представление. Всё было вовсе не безмятежно. Сегодня, отправляясь на ежевечернюю демонстрацию своего мастерства, Стедман оставил жену в слезах. Он не сомневался, что Корнелия и сейчас еще рыдает в трейлере – рыдает над вечерней газетой. В этой газете художественный критик назвал Стедмана многокрасочным обманщиком.

– Святые угодники, нет! – воскликнула женщина, которой Стедман предложил мольберт и кисть. – У меня даже пустое место не получится на себя похожим. – Она отшатнулась, спрятав руки за спину.

И тут на сцене появилась Корнелия. Бледная и дрожащая, она вышла из мастерской и встала рядом с мужем.

– Я хочу кое-что сказать всем этим людям, – заявила она.

Все эти люди никогда раньше не встречали Корнелию, однако она мгновенно заставила их понять, что собой представляет. Испуганная, робкая и застенчивая – она никогда раньше не обращалась к толпе. Было совершенно ясно, что только катаклизм невиданной силы мог развязать ей язык. Корнелия Стедман внезапно стала олицетворением

всех милых, тихих, преданных и смущенных домохозяйек всех времен и народов.

Стедман лишился дара речи. Ничего подобного он не ожидал.

– Через десять дней, – дрожащим голосом проговорила Корнелия, – моему мужу исполнится шестьдесят. И я все думаю, как долго нам еще придется ждать, когда мир в конце концов очнется и признает его одним из величайших живописцев, когда-либо живших на свете. – Она прикусила губу, пытаясь сдержать слезы. – Один чванливый болван-критик написал в сегодняшней газете, будто мой муж обманщик. – Слезы хлынули из ее глаз. – Чудесный подарок на шестидесятилетие человеку, который всю свою жизнь посвятил искусству!

Собственные слова настолько потрясли Корнелию, что она едва собралась с силами, чтобы продолжить.

– Мой муж, – в конце концов произнесла она, – представил десять чудесных работ на ежегодную выставку так называемой Ассоциации искусств Семинол-Хайлендс, и все они до единой были отвергнуты.

Корнелия указала пальцем на картину в витрине другой мастерской, расположенной через дорогу прямо напротив. Ее губы шевелились. Она пыталась сказать что-то о картине – громкой ужасающей абстракции, – но не смогла издать ни единого осмысленного звука.

Речь Корнелии была окончена. Стедман нежно препроводил ее в мастерскую и прикрыл дверь. Он поцеловал жену, смешал ей коктейль. Стедман чувствовал себя не слишком уютно, поскольку прекрасно знал, что он действительно обманщик. Знал, что его картины ужасны, знал, что такое хорошая живопись и что такое хороший живописец. Вот только почему-то так и не удосужился поделиться этим знанием с женой.

Высокое мнение Корнелии о его таланте, хотя и демонстрировало ее ужасный вкус, было самым ценным сокровищем Стедмана. Прикончив напиток, Корнелия смогла наконец закончить и речь.

– Все твои чудесные работы отвергнуты, – проговорила она. Затем ткнула в картину через дорогу, и рука ее была тверда и неподвижна. – А эта мазня взяла первую премию!

– Ну-ну, малышка, – сказал Стедман. – Что ни делается, все к лучшему, а лучшего у нас хватает.

Картина через дорогу была невероятным творением – мощным и искренним, – и Стедман знал это, чувствовал всем естеством.

– Малышка, в живописи существуют самые разные направления, – сказал он, – и некоторым людям нравится одно, а некоторым совсем другое, так устроен мир.

Корнелия не отводила взгляда от картины напротив.

– Я бы этот кошмар и в сарай не повесила, – мрачно проговорила она. – Против тебя сплели заговор, и пришла пора положить ему конец. – Корнелия встала, медленно, угрюмо, по-прежнему глядя на противоположную сторону улицы. – И что это она вывесила в витрине?

На противоположной стороне улицы Сильвия Лазарро клеила газетную вырезку в витрину мастерской своего мужа. Вырезка была с той самой статьей, где Стедмана называли обманщиком. Сильвия выставила статью на всеобщее обозрение вовсе не из-за этого, а по причине того, что в статье говорилось о ее муже, Джоне Лазарро.

А там говорилось, что Лазарро самый выдающийся художник-абстракционист во Флориде. Говорилось, что он способен выразить сложные эмоции при помощи невероятно простых элементов. Там говорилось, что Лазарро пишет одной из самых редких красок – он пишет душой. А еще там говорилось, что Лазарро начал свою карьеру как мальчик-вундеркинд, обнаруженный в трущобах Чикаго.

Лазарро было всего двадцать три года. Он никогда не учился в художественной школе. Он был самоучкой.

В витрине с газетной вырезкой была выставлена картина, которая заслужила все

эти похвалы, равно как и денежный приз в двести долларов. На этой картине Лазарро попытался запечатлеть на холсте тягостную неподвижность, безумную боль и холодный пот за мгновение до того, как разразится гроза. Облака на картине не были похожи на настоящие облака. Они были похожи на серые валуны – плотные как гранит и в то же время каким-то образом рыхлые и пропитанные влагой. И земля не была похожа на настоящую землю. Она скорее напоминала горячую, потускневшую медь. Нигде никакого укрытия. Любой, кто оказался бы в этот мрачный миг в этом мрачном месте, вынужден был бы съежиться на горячей меди под сырыми глыбами – и принять то, что в следующее мгновение обрушит на него природа.

Картина была до ужаса мрачной – место для такой нашлось бы только в музее или в собрании маниакального коллекционера. Картины Лазарро продавались плохо. Он и сам был им под стать – грубый и злой. Ему нравилось казаться опасным, казаться бандитом. Но он не был опасен. Он боялся. Боялся того, что он самый большой обманщик из всех.

Лазарро лежал одетым на кровати в темноте. Единственным источником света в мастерской был отблеск расточительной иллюминации, освещающей жилище Стедмана на той стороне улицы. Лазарро угрюмо размышлял о том, какие подарки мог бы купить жене на двухсотдолларовую премию, если бы ее тут же не растащили кредиторы.

Сильвия отошла от окна и присела на краешек его кровати. До того, как Лазарро посватался к ней, она была бойкой простушкой-официанткой. Три года совместной жизни со сложным и талантливым мужем добавили Сильвии кругов под глазами, а кредиторы превратили всегдашнюю живость в веселое отчаяние. Но Сильвия не собиралась сдаваться. Она не сомневалась, что ее супруг – второй Рафаэль.

– Почему ты не хочешь почитать, что о тебе написали в газете? – спросила она.

– Никогда не видел толку в художественных критиках, – ответил Лазарро.

– Зато они в тебе видят, – возразила Сильвия.

– Ура, – безучастно проговорил Лазарро.

Чем больше хвалы возносили ему критики, тем сильнее он съезживался на горячей меди под сырыми глыбами. Руки и глаза Лазарро были так устроены, что он не мог добиться в изображаемых предметах ни малейшего сходства. Его картины были жестокими не потому, что он хотел выразить эту жестокость – он просто не умел писать по-другому. На первый взгляд, Лазарро не испытывал к Стедману ничего, кроме презрения. Но глубоко в душе он испытывал благоговение перед руками и глазами Стедмана – руками и глазами, которые могли сделать все, чего тот хотел от них.

– У лорда Стедмана через десять дней юбилей, – сообщила Сильвия. Она прозвала Стедманов «лорд и леди Стедман», потому что те были так богаты и потому что Лазарро были так бедны. – Леди Стедман вышла из трейлера и произнесла по этому поводу большую речь.

– Речь? – переспросил Лазарро. – Не знал, что у леди Стедман есть голос.

– Сегодня он у нее был, – сказала Сильвия. – Она просто взбесилась оттого, что газета назвала ее мужа обманщиком.

Лазарро нежно взял ее за руку.

– Ты защитишь меня, крошка, если кто-то скажет такое обо мне?

– Я убью любого, кто скажет о тебе такое.

– У тебя сигаретки нет? – спросил Лазарро.

– Кончились, – ответила Сильвия.

Сигареты кончились еще в обед.

– Я подумал, вдруг ты припрятала пачку, – сказал Лазарро.

Сильвия уже была на ногах.

– Пойду стрельну у соседей.

Лазарро схватил ее за руку.

– Нет, нет и нет, – проговорил он. – Пожалуйста, ничего больше не стреляй у соседей.

– Но если ты так хочешь курить... – начала Сильвия.

– Неважно. Забудь! – возбужденно выговорил Лазарро. – Я бросаю. Первые несколько дней самые тяжелые. Зато сэкономим кучу денег... и здоровья.

Сильвия сжала его руку, отпустила, подошла к фанерной стене и принялась колотить в нее кулачками.

– Это нечестно, – горько проговорила она – Ненавижу их!

– Ненавидишь кого? – Лазарро сел.

– Лорда и леди Стедман, – произнесла она сквозь сжатые зубы. – Выставляют повсюду напоказ свои деньги. И этот лорд Стедман со своей толстенной двадцатипятицентовой сигарой в зубах продает свои дурацкие картинки – только свист стоит... а ты пытаешься принести в этот мир что-то новое и прекрасное, а не можешь позволить себе даже сигарету!

В дверь настойчиво постучали. Снаружи слышался людской гомон, словно зеваки Стедмана переместились на эту сторону улицы. А потом послышался голос и самого Стедмана, терпеливо увещевающий:

– Ну послушай же, малышка...

Сильвия подошла к двери и распахнула ее.

Снаружи стояли леди Стедман, гордо задрав голову, лорд Стедман, понурившийся от неловкости, и горстка зевак, весьма заинтересованная происходящим.

– Сию же секунду уберите эту мерзость из вашей витрины, – заявила Корнелия Стедман Сильвии Лазарро.

– Убрать что из моей витрины? – поинтересовалась Сильвия.

– Уберите газетную вырезку из вашей витрины, – сказала Корнелия.

– А что не так с вырезкой? – осведомилась Сильвия.

– Вы знаете, что не так с вырезкой, – хмурилась Корнелия.

Лазарро слышал, как голоса двух женщин повышаются. Поначалу они звучали достаточно безобидно – почти по-деловому, но каждая фраза заканчивалась на чуть более высокой ноте. Лазарро подошел к двери мастерской как раз вовремя, за секунду до

того, как между двумя женщинами сверкнула молния – между двумя славными женщинами, которые зашли слишком далеко. Тучи, которые сгустились над Корнелией и Сильвией, не были тяжелыми и влажными. Они сверкали ядовитой зеленью.

– Вы имеете в виду, – решительно проговорила Сильвия, – ту часть статьи, где говорится, что ваш муж обманщик, или ту, где моего называют великим художником?

И грянул гром.

Женщины не касались друг друга. Они стояли лицом к лицу, и каждая хлестала соперницу страшной правдой. Но, независимо от того, какие слова они выкрикивали, ни одна не чувствовала удара, поскольку безумное наслаждение битвы захватило обеих. Кто понастоящему страдал, так это их мужья.

Каждая насмешка Корнелии больно жалила Лазарро. Он взглянул на Стедмана и увидел, что тот моргает и хватается ртом воздух каждый раз, как очередную колкость отпускает Сильвия.

Когда перепалка постепенно начала утихать, слова женщин стали более конкретными и взвешенными.

– Вы в самом деле думаете, что мой муж не способен намалевать дурацкую старомодную картинку с индейцем в березовом каное или хижинкой в лесу? – поинтересовалась Сильвия Лазарро. – Да он не глядя такое нарисует! Он не делает этого, потому что слишком честен, чтобы копировать старые календари.

– А вы считаете, мой муж не сможет намазать пятен и придумать им загадочное название? – парировала Корнелия Стедман. – Не сможет размазать краску так, чтобы ваши дружки, чванливые критики, пришли и сказали: «Вот что я называю истинной душой»? Вы серьезно так думаете?

– Еще бы я не думала! – фыркнула Сильвия.

– Хотите маленькое состязание? – осведомилась Корнелия.

– Что пожелаете. – Сильвия пожалала плечами.

– Чудненько, – сказала Корнелия. – Сегодня ночью ваш муж напишет картину, на которой хоть что-то будет похоже на само себя, а мой муж напишет то, что вы называете душой. – Она вскинула седую голову. – А утром посмотрим, чья возьмет.

– По рукам. – В голосе Сильвии зазвучали победные нотки. – По рукам.

\* \* \*

– Просто размажь краску, – сказала Корнелия Стедман, заглядывая через плечо мужа.

Она чувствовала себя великолепно, словно сбросила пару десятков лет. Стедман уныло сидел перед чистым холстом. Корнелия выбрала тюбик краски и выдавила из него на холст карминового червяка.

– Чудесно, – проговорила она, – отсюда можно и начать.

Стедман апатично взял в руку кисть и продолжал сидеть неподвижно. Он знал, что потерпит поражение. Стедман много лет вполне жизнерадостно мирился с творческими поражениями, поскольку научился покрывать их сладкой глазурью наличных. Но сегодня – он знал это – творческий крах предстанет перед ним так откровенно, так ярко, что придется открыто признать его. Стедман не сомневался, что на другой стороне улицы Лазарро в эти самые минуты создает нечто настолько совершенное, живое и трепещущее, что оно способно потрясти даже Корнелию вместе с толпами зевак. А Стедману станет настолько стыдно, что никогда уже больше он не возьмет в руки кисть. Стедман смотрел куда угодно, только не на холст, изучал картины и объявления в мастерской, словно видел их впервые.

«Десятипроцентная скидка на все, что выходит из-под кисти Стедмана, – гласило одно объявление. – И совершенно бесплатно Стедман сделает так, что закат на картине совпадет по гамме с вашими портьерами и ковром».

«Стедман, – сообщало другое объявление, – создаст уникальную картину маслом по любой вашей фотографии».

Стедман вдруг поймал себя на мысли о том, какой шустрый этот Стедман.

Стедман принялся рассматривать работы Стедмана. На каждой картине присутствовала одна тема: уютный маленький домик с дымом из каменной трубы. Прочный маленький домик, который, сколько ни надувай щеки, не сдует никакому волку. И в каком бы месте картины Стедман ни поместил этот домик, он словно говорил: «Входи, усталый путник, кем бы ты ни был – входи и насладись отдыхом».

Стедман представил, как входит в домик, закрывает двери и ставни и садится на коврик у камина. Он смутно осознавал, что на самом деле здесь, в домике, и пробыл последние тридцать пять лет. А теперь его пытаются извлечь оттуда.

– Милый, – позвала Корнелия.

– Гм?

– Ты разве не рад?

– Рад? – переспросил Стедман.

– Рад тому, что мы сможем доказать, кто настоящий художник.

– Ужасно рад. – Стедман выдавил улыбку.

– Так почему же ты не начнешь работать? – спросила Корнелия.

– И правда, почему, – пробормотал Стедман.

Он поднял кисть и принялся тормозить ею карминового червяка. Через несколько секунд на холсте появилась карминовая березовая роща. Еще пара дюжин бездумных движений кистью – и рядом с рощицей был возведен маленький карминовый домик.

– Индеец! Нарисуй индейца. – Сильвия Лазарро расхохоталась, потому что Стедман всегда рисовал индейцев. Она прикрепила к мольберту Лазарро свежий холст и теперь барабанила по нему пальцами. – Сделай его ярко-красным, с орлиным носом, – продолжала она. – А позади за горами пусть сидит

ся солнце, и не забудь маленький домик на склоне горы.

Взгляд Лазарро остекленел.

– Всё на одной картине? – угрюмо проговорил он.

– Конечно! – воскликнула Сильвия. Она словно снова превратилась в игривую невесту. – Нарисуй всё это, чтобы раз и навсегда положить конец разговорам этих людей о том, что у них детишки рисуют лучше тебя.

Лазарро сгорбился и потерял глаза. То, что он рисовал, как ребенок, было абсолютной правдой. Он рисовал, как поразительный ребенок с безумным воображением – но все равно, как ребенок. Некоторые картины, которые Лазарро писал сейчас, почти не отличались от тех, что он рисовал в детстве.

Он иногда думал, что, возможно, его самая первая работа и есть самая великая. Лазарро нарисовал ее крадеными цветными мелками на тротуаре чикагской трущобы. Ему было двенадцать. Он начинал свою первую большую работу частью как розыгрыш, частью как шантаж. Картина мелками становилась все больше и больше – и все безумнее. Зеленые полотнища дождя, украшенные кружевом черных молний, хлестали по скрюченным пирамидам. Местами на картине был день, а местами ночь, и днем светила бледная серая луна, а ночью жаркое красное солнце.

Чем больше и безумнее становилась картина, тем больше она нравилась растушей толпе зрителей. На тротуаре все изменилось. Незнакомцы приносили художнику всё новые мелки. Приехала полиция. Приехали репортеры. Приехали фотографы. Приехал даже сам мэр. Когда юный Лазарро наконец поднялся с колен, он стал, хотя бы на один день, самым знаменитым и любимым художником на Среднем Западе.

Сегодня Лазарро уже не был мальчиком. Он мужчина, который зарабатывает на жизнь, рисуя, как мальчик, а жена просит его изобразить индейца, который действительно похож на индейца.

– Это же так легко для тебя, – говорила Сильвия. – Тут ведь не надо ни во что вкладывать душу. – Она нахмурилась и прищурила глаза, словно высматривая что-то на горизонте, как один из индейцев Стедмана. – Просто нарисуй им здоровенного краснокожего!

К часу ночи Дурлинг Стедман был на грани сумасшествия. Холст перед ним был покрыт несколькими фунтами краски. А сколько фунтов ему уже пришлось соскоблить! Какую бы абстракцию ни пытался изобразить Стедман, банальные жизненные сюжеты пробивались сквозь нее. Куб все равно превращался у него в домик, конус – в покрытую снегом горную вершину, а сфера становилась полной луной. Отовсюду выглядывали индейцы в таком количестве, что их хватило бы для панорамы битвы при Литтл-Бигхорн.

– Никак не можешь отодвинуть в сторону свой талант? – посочувствовала ему Корнелия.

Стедман вскипел и велел ей отправляться в постель.

– Мне будет легче, если ты не станешь смотреть, – раздраженно сказал Джон Лазарро жене.

– Я просто не хочу, чтобы ты слишком перенапрягался. – Сильвия зевнула. – Если я уйду, то, боюсь, ты опять начнешь вкладывать душу и все усложнишь. Просто нарисуй индейца.

– Я рисую индейца, – сказал Лазарро. Нервы его были натянуты как струна.

– Ты... не против, если я задам вопрос? – спросила Сильвия.

Лазарро закрыл глаза.

– Конечно, не против.

– Где индеец?

Скрипнув зубами, Лазарро ткнул в центр холста.

– Вот твой паршивый индеец.

– Зеленый? – спросила Сильвия.

– Это подмалёвок.

– Милый, не нужно тут никакого подмалёвка. Просто нарисуй индейца. – Сильвия взяла тюбик краски. – Вот, смотри, отличный цвет для индейца. Просто нарисуй его, а потом раскрась – как в книжках-раскрасках с Микки-Маусом.

Лазарро отшвырнул кисть в другой конец комнаты.

– Да я и Микки-Мауса не раскрасшу, когда кто-то смотрит мне через плечо! – взревел он.

Сильвия отшатнулась.

– Прости. Я просто хотела объяснить тебе, как это легко.

– Марш в постель! – приказал Лазарро. – Ты получишь своего грёбаного индейца. Только иди спать.

Услышав вопль Лазарро, Стедман ошибочно принял его за вопль радости. Стедман был уверен, что такой вопль может означать только две вещи: или Лазарро закончил картину, или окончательно скомпоновал ее, и скоро она будет написана.

Он пытался представить себе картину Лазарро – то как мерцающего Тинторетто, то как туманного Караваджо, а то и как вихреобразного Рубенса. Упрямо, не понимая, жив он или мертв, Стедман принялся методично убивать индейцев ножом-палитрой.

Его презрение к себе достигло пика. Осознав, насколько глубоко это презрение, Стедман прекратил работу. А презрение к себе оказалось настолько глубоким, что Стедман решил, невзирая на стыд, без всякого стеснения перейти улицу и купить у Лазарро картину, в которой есть душа. Он готов был заплатить Лазарро круглую сумму за право поставить свою подпись под картиной Лазарро и за обещание Лазарро хранить молчание об этой позорной сделке.

Приняв такое решение, Стедман снова принялся рисовать. Но теперь это была бесстыдная оргия его старого, доброго, вульгарного, бездушного «я». Несколькими сабельными ударами кисти он создал горный хребет. Провел кистью над горами, и после

нее остался облак. Тряхнул кисть над склонами, и отовсюду повыскакивали индейцы.

Индейцы тут же изготовились к атаке на что-то в долине. Стедман знал, на что. Он встал и сердито нарисовал домик. Нарисовал открытые двери. Нарисовал себя внутри.

– Вот вам квинтэссенция Стедмана, – презрительно бросил он и горько рассмеялся. – Вот он, старый болван.

Стедман вернулся в трейлер и убедился, что Корнелия крепко спит. Проверил деньги в бумажнике, прокрался обратно в мастерскую и отправился на другую сторону улицы.

Лазарро дошел до полного измождения. У него было чувство, будто он не работал последние пять часов, а пытался спасти индейца с вывески сигарной лавки из зыбучего песка. Зыбучий песок был изображен на холсте Лазарро.

В конце концов Лазарро прекратил попытки вытащить индейца на поверхность и позволил ему ускользнуть в Леса Счастливой Охоты.

Поверхность картины сомкнулась над индейцем – а также над самоуважением Лазарро. Жизнь назвала Лазарро лжецом, и он всегда знал, что когда-нибудь такое случится. Он попытался ухмыльнуться словно жулик, который собрался бросить свои проделки, которыми занимался долгие годы. Но в действительности Лазарро не хотел этого. Он очень любил писать картины и хотел писать их всю жизнь. Если он и обманщик, то одновременно он и жертва самого изощренного обмана.

Уронив неуклюжие руки на колени, Лазарро представил, что сейчас делают умелые руки Стедмана. Если Стедман велит своим волшебным рукам стать искушенными и умелыми, как у Пикассо, они станут искушенными и умелыми. Если велит им быть жестко прямолинейными, как у Мондриана, они станут жестко прямолинейными. Велит стать злобно-детскими, как у Клее, станут злобно-детскими. А велит стать сердито-не-

умелыми, как у Лазарро, и эти волшебные руки смогут стать именно такими.

Лазарро готов был пасть настолько низко, что в голову ему даже пришла идея выкрасть одну из работ Стедмана, поставить на ней свое имя и силой заставить бедного старика молчать об этом. Ниже падать было уже некуда, и Лазарро принялся писать картину о своих чувствах – о том, какой он лживый, какой грубый, какой мерзкий. Картина была почти черной. Это была последняя картина, которую собирался написать Лазарро, и она называлась «Ни черта хорошего».

У дверей студии послышались звуки, словно снаружи было какое-то большое животное. Лазарро яростно продолжал работу. Звуки послышались снова. Лазарро направился к двери и распахнул ее.

Снаружи стоял лорд Стедман.

– Если я похож на человека, которого вот-вот вздернут, – сказал Стедман, – то не сомневайтесь, именно так я себя и чувствую.

– Входите, – сказал Лазарро. – Входите.

Этим утром Дурлинг Стедман проспал до одиннадцати. Он пытался заставить себя поспать еще, но не смог. Стедман не хотел вставать. Анализируя причины этого нежелания, он обнаружил, что совершенно не напуган грядущим днем. В конце концов, проблему минувшей ночи он сумел разрешить весьма ловко – обменявшись картинами с Лазарро.

Стедман больше не боялся унижения. Он поставил свое имя на картине, где есть душа. Там, в странной тишине, царящей снаружи, его наверняка ждет слава. Стедман не хотел вставать по другой причине – у него было чувство, будто прошлой безумной ночью он утратил нечто бесценное.

Пока Стедман брлся и рассматривал себя в зеркале, он понял, что бесценная вещь это не честность – он по-прежнему оставался гениальным старым обманщиком. И это не деньги – они с Лазарро поменялись баш на баш. Стедман прошел из трейлера в мастерскую, но там никого не было. Для туристов

рановато, они появятся часам к двенадцати. Корнелии тоже нигде не было видно.

Чувство, будто он утратил что-то важное, стало настолько сильным, что Стедман поддавался порыву перерыть все шкафы и ящики в мастерской в поисках один Бог знает чего. И он хотел, чтобы жена помогла ему.

– Милая! – позвал он.

– А вот и он! – раздался возглас Корнелии снаружи.

Она вбежала в мастерскую и потащила его на улицу к мольберту, на котором Стедман демонстрировал туристам свое мастерство. На мольберте стояла черная картина Лазарро. Она была подписана Стедманом и при свете дня предстала совершенно в новом качестве. Чернота блестела, казалась живой. А другие цвета больше не казались грязными оттенками черного. Они придавали картине мягкий, божественный отсвет витража. Более того, это не была картина Лазарро. Она была лучше, чем у Лазарро, потому что в картине отсутствовал страх. Там были красота, гордость и трепещущая жизнь.

Корнелия сияла.

– Ты победил, милый... ты победил, – проговорила она.

Молчаливым полукругом перед картиной стояли несколько человек, совсем не похожих на тех зевак, к которым привык Стедман. Серьезные художники тихо пришли посмотреть на творение Стедмана. Они были смущены, печальны и полны уважения: пустой, глупый Стедман доказал, что он гораздо больший мастер, чем все они, вместе взятые. Горечь и радость смешались в улыбках, которыми они приветствовали нового мастера.

– Вы только гляньте на мазню на той стене! – воскликнула Корнелия.

Она указала пальцем через улицу. В витрине мастерской Лазарро была выставлена картина, которую Стедман написал про-

шлой ночью. На ней стояло имя Лазарро. Стедман был потрясен. Картина несколько не напоминала его работы. Да, она была похожа на открытку, но на открытку, отправленную из чьего-то персонального ада.

Индейцы и домик, и старик в домике, и горы, и облака на этот раз не выражали никакого напыщенного романтизма. С реалистичностью Брейгеля, плавностью линий Тернера и гаммой Джорджоне картина повествовала о мятущейся душе несчастного старика.

Картина была тем самым бесценным предметом, который утратил Стедман прошлой ночью. Единственной настоящей работой, которую он создал за всю свою жизнь.

Прямо через дорогу навстречу Стедману шагал Лазарро. Он был очень возбужден. Сильвия Лазарро тянула его за рукав.

– Я никогда тебя таким не видела! – воскликнула она. – Да что случилось?

– Мне нужна эта картина, – громко и раздраженно проговорил Лазарро. – Сколько вы за нее хотите? – рыкнул он на Стедмана. – У меня сейчас нет денег, но я заплачу, когда появятся. Заплачу, сколько скажете. Назовите цену.

– Ты рехнулся? – вспикела Сильвия. – Да у меня для такой вшивой картинки и стены не найдется!

– Заткнись! – рявкнул Лазарро.

Сильвия заткнулась.

– А что вы скажете... что вы скажете насчет обмена? – проговорил Стедман.

Корнелия Стедман расхохоталась:

– Обменять чудесную работу на эту жалкую мазню?

– Молчать! – приказал Стедман. На сей раз старый художник не казался величественным, а действительно стал им. Он обменялся с Лазарро дружеским рукопожатием. – По рукам?